

## Н. ПОЛЕТАЕВ\*

### Ленин на трибуне\*\*

Я видел море, я измерил  
Очами жадными его,  
Я силы духа моего  
Перед лицом его поверил.

*А. Полежаев*

Портрет Ленина во весь рост будет нарисован, когда нас уже не будет. На нас, современниках его, лежит великая ответственность точно, по возможности фотографически точно, закрепить

---

\* *Николай Гаврилович Полетаев (1889–1935)* — русский советский поэт, входил в группу пролетарских писателей. В 1918 поступил в студию Московского Пролеткульта. В 1920 г. вступил в объединение «Кузница».

\*\* Рабочий журнал. 1924. № 1. С. 81–85.

всякую деталь жизни великого человека, написать все, что знаем, что слышали, что думаем о нем, чтобы дать материал будущим историкам, мыслителям и поэтам.

Поэтому я так рад возможности исполнить свой долг: рассказать, как я его видел, какие мысли, какие чувства возбуждал он во мне и окружающих.

Четыре раза видел я его, и все четыре раза изменялся, усложнялся, выростал в моем сознании образ этого человека.

Седьмое ноября 1918 года. Красная площадь. Празднование первой годовщины Октября. Ясный осенний день. Косые, холодные лучи солнца как-то особенно резко, особенно отчетливо освещают еще непривычное зрелище: торжественное шествие победивших рабочих, их строгие, серые, сосредоточенные лица, их блистающие победой лохмотья, колыхающиеся над их головами красные знамена, сверкающие золотыми и серебряными словами.

Я стою у самой трибуны. Сейчас на ней должен стоять и говорить необыкновенный человек, человек, который прогнал с этой площади прежних ее господ: жандармов, попов, генералов, царей, все гнилое, старое, все, что еще так недавно, по какому-то недоразумению, распоряжалось, господствовало здесь.

Что это за человек? Я уже оставил процессию, я уже смотрю, как на некое зрелище, на пустую красную трибуну.

И все-таки я не заметил, как даже не появился, а каким-то образом очутился на трибуне Ленин.

Еще хлопали, еще кричали, а он уже стоял с открытым ртом, с поднятой правой рукой, он уже говорил. Таи вот — говорящим, жестикулирующим, двигающимся и остался он навсегда в моей памяти.

Наружность его была обыкновенна и скромна, но как-то блистательно обыкновенна и скромна, говорил он без всяких внешних признаков пафоса, просто, немного крикливо, звонко и отчетливо, как будто спешил, как будто волновался. Он не старался говорить красиво. Он говорил так, как течет река. Она ведь мало беспокоится о том, красив ли блеск ее волн на солнце, мелодичен ли ее шум. Ей нужно течь. Ему нужно говорить, говорить о самых, по его мнению, обыкновенных вещах: о европейской, о мировой революции. Только одно различие с рекой: река не спешит, в ее беге нет нетерпения, а он весь нетерпение, огонь, пожар. Ему как будто мало того, что он сделал, ему нужно сейчас же, непременно сейчас, перевернуть, перекувырнуть всю землю, чтобы разгорелась она огнем коммунизма, который сжигает его. Оттого он там и бегаёт по трибуне, оттого он так и машет и правой и левой рукой. И вот еще что поразило меня: он весь в движении, он весь нетерпение, и в то же время на этой красной пустой трибуне он

выглядит каким-то памятником, монументом: как будто новый род искусства создал — двигающийся монумент.

Итак, еще раз: в его речи нет признаков пафоса, но этот пафос сжигает его, этот пафос насквозь прожигает окружающих, в его наружности нет ничего величавого, она очень скромна, даже сера, эта наружность, но эта серость блещет блеском прокаленной стали, эта скромность озарена огнем и кровью величайшей из революций. Когда он ушел с трибуны, я ничего не видел и ничего не хотел больше видеть.

Еще о наружности Ленина: я не знаю, имеет ли какое значение, что у него был огромный выпуклый лоб и большая лысина. Что он был плотный, сугуловатый, короткошей, среднего роста, что лицо у него было сероватое, в широких и глубоких морщинах, что он очень часто и очень искренне усмехался, что он неправильно выговаривал букву Р, что поношенный костюм как бы прирос к нему, казался неотделимым.

Второй раз я видел Ленина в редкой и неожиданной для меня обстановке: на концерте, устроенном московским Пролеткультом; концерт был как концерт, и не только Ленина, даже меня не очень интересовал. Публика же была наша, пролеткультовская. Ленин пришел с женой и совершенно неожиданно для всех. Сели они, не помню в каком ряду, но где-то посредине зала и недалеко от меня. Если бы не знали, что это Ленин, никто бы не подумал, что тут сидят люди, дело которых перейдет в века. Всякий сказал бы, что это очень скромная, очень милая, пожилая чета: вероятно, он учитель, вероятно, оба идеалисты-народники этак семидесятых или восьмидесятых годов.

Пока Ленин сидел, я заметил, что он, как это ни странно, не привык, чтобы на него смотрели, не мог сидеть спокойно и в смущении как-то нетерпеливо двигался, насколько позволяли обстоятельства. Когда номер кончился, Ленин раньше всех, торопливо захлопал, приподняв руки выше, чем это нужно.

И опять я не заметил, как он очутился на трибуне...

Всякий бы другой на его месте... при такой обстановке, сказал бы несколько слов об искусстве, о его значении, или что-либо подходящее к моменту, чтобы потом перейти на главное. Ленин же сразу без всяких предисловий заговорил о том, что нужно ему, что поглощает его: о близости мировой революции, о Красной Армии, о том, что рабочая молодежь должна идти в командный состав, должна идти в деревню добывать хлеб для Красной Армии, о том, что мы победим, не можем не победить.

Небольшими, нервными короткими руками он словно уже держал эту мировую революцию, вертел ее в них, в ней не было уже никакого сомнения. И весь зал, все молодые возбужденные

лица как-то побледнели, все съежились перед этой небольшой, скромной, немного мешковатой фигурой.

Третий раз. Железнодорожная конференция. Белые наступают, уже где-то близко. Настроение подавленное, усталое. Говорит Красин. Красивая, благородная фигура этого пожилого, серьезного человека благотворно и успокаивающе действует на аудиторию, но чего-то недостает, чего-то освежающего, близкого.

И опять волнуется, спешит, говорит Ленин. Совершенно не помню, о чем он говорил, но — словно окно открыли в душевной комнате больного, словно сын у матери выздоровел, словно коммунизм уже наступил и разгорелся, разблестался в угрюмом каменном здании. Все чувствуют, что никогда, ни за что, ни под каким видом никакие Деникины, никакие Ллойд-Джорджи, ну никто никогда не свалит, не победит этого человека в коротком пиджаке.

Последний раз я видел Ленина у нас на Брянском вокзале. Это было в самое голодное время. Мы отправляли рабочих в южные губернии для того, чтобы они там в бывших помещичьих имениях заводили свои советские хозяйства. Был мягкий весенний вечер. Около сотни железнодорожников столпились у открытой воинской платформы и терпеливо, хлюпая в лужах худыми ботинками, ждали Ленина.

На платформе сидели на своих корзинах, сундучках, узлах отправляемые: их было вагона на четыре, на пять, с женами, с ребятами. Бледные, голодные, измученные, встревоженные внезапной переменой всех своих жизненных привычек, они тоже ждали Ленина. И он явился. Я никогда еще не видел его таким. На этот раз он был как-то тих, строг, сосредоточен и даже как будто спокоен. Он не подделывался к голодным людям, которым грозила неизвестность. Без всякой рисовки, без всякой напускной жалости, сурово и просто он говорил этим людям, что город голодает, что в городе делать нечего, о том, что деревня, Россия, нуждаются в рабочих, нуждаются в культуре, что им предстоит там на новом месте трудная ответственная работа, и потом опять о ней, о единственной, о мировой революции, о том, что мы победим, что мы не можем не победить.

И в мягком ласкающем свете вечерней весенней зари я видел блистание слез на серых измученных лицах рабочих и понял, что эти люди пойдут всюду, куда их пошлет этот сутулый, невысокий, крепкий, как скала, человек в кепке, потому что посылает он их в неизвестность не для себя, а для светозарного коммунистического будущего, о котором человечество грезит целые века и к которому он приблизил его — как никто.

Больше я не видел Ленина, но и того, что я видел, хватит на всю мою жизнь.